

ВИКТОР НЕКРАСОВ

Персональное
дело
коммуниста
Юфы



**ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ДЕЛО КОММУНИСТА
ЮФЫ**

Маленькая повесть

1

Николай Александрович Баруздин, секретарь парторганизации крупного научно-исследовательского института, был растерян, да более, чем растерян. Сегодня утром к нему пришел всегда тихий, незаметный, давно уже работающий в институте инженер отдела капитального строительства Абрам Лазаревич Юфа и попросил дать ему характеристику для получения паспорта и визы в Израиль.

Николай Александрович сначала даже не понял.

— Куда?

— В Израиль.

— В Израиль? — переспросил он.

— Да, в Израиль. У меня там сестра с детьми.

— Но, погодите, — Николай Александрович даже растерялся. — Я вас не понимаю. В туристскую поездку, что ли? Сейчас?

— Нет, не в туристскую. Насовсем, — тихо ответил Абрам Лазаревич, вертя тонкими пальцами пресс-папье.

Воцарилось молчание. Потом Николай Александрович сказал:

— Зайдите ко мне завтра.

Абрам Лазаревич попрощался и ушел, беззвучно закрыв за собой дверь.

Первым делом Николай Александрович позвонил в райком. Ни первого, ни второго секретаря не было, оба на пленуме обкома.

Значит, и там никого не застанешь.

Что же делать? С кем посоветоваться? И о чем советоваться? Старик явно выжил из ума.

Он стал припоминать, где и как встречался с Юфой. Да в общем-то нигде и никак. Работал он в институте лет пятнадцать, работал хорошо, жалоб никогда никаких на него не было, партвзносы платил аккуратно, занятий партучебы не пропускал, часто отмечался премиями. Один раз, правда, у него была какая-то стычка с Берестовым, замдиректора института, но, как потом выяснилось, правда оказалась на стороне Юфы, а не Берестова. Вот и все, что он о нем знает.

Весь день у Николая Александровича работа не ладилась. Приехала какая-то сирийская партийно-правительственная делегация, надо было показывать лаборатории, а там, как на зло, погасло электричество и, сколько ни возились с пробками, оно так и не загорелось. Потом было совещание у директора, который, вернувшись в дурном настроении из ЦК, а оттуда он всегда приходил в дурном настроении, стал всех распекать, в том числе и Николая Александровича. Потом позвонила жена из дома с сообщением, что Ленька получил двойку по математике, как будто это нельзя было сказать вечером, дома. Потом разболелся зуб и никакой пирамидон не помогал. А в голове все сверлило: Юфа, Юфа, Юфа...

После совещания у директора он столкнулся в уборной с начальником отдела капстроительства. Стал его расспрашивать о Юфе.

— Абрам Лазаревич? Исполнительнейший из всех инженер. Аккуратен, точен, никогда ничего не задерживает. За все пятнадцать лет работы ни разу не

опоздал и, кажется, только раз был на бюллетене. Одним словом, образцовый работник. А что?

— Да ничего. Просто так. Потом поговорим.

Начальник отдела кадров — желчный и подозрительный Антипов — тоже ничего предосудительного сказать не мог.

— Работник как работник. В бумагах все чисто.

К концу дня Николай Александрович дозвонился, наконец, до секретаря райкома.

— Слушаю, — пробасил тот.

— Дело неотложное у меня, Василь Васильич.

— Такое уж неотложное?

— Очень даже.

— А до завтра не доживет? У меня сегодня билет в театр. Жена второй месяц тянет.

— Хотелось бы все-таки сегодня.

— Ну ладно уж, приходи.

Когда он зашел к нему, Василь Васильич сидел и листал «Огонек».

— ЧП, Василь Васильич.

— Какое там еще?

— Пришел ко мне один коммунист и характеристику в Израиль попросил.

— Куда, куда? — переспросил секретарь.

— В Израиль.

— В Израиль?

— В Израиль.

Василь Васильич побарабанил пальцами по столу.

— Он что, спятил?

Воцарилось молчание. Василь Васильич потер свое красное оплывшее, все в оспинах лицо, попытался куда-то позвонить, не дозвонился, опять потер лицо и сказал: «М-да...» Потом еще раз безуспешно позвонил.

— Разбежались все, черти... — и посмотрел маленькими глазками на Николая Александровича. — А что он за тип?

— Тип как тип, ничего не скажешь.

— Воевал?

— Кажется, да.

— Сидел?

— По-моему, нет.

— Чего ж ему, гаду, нужно?

Николай Александрович пожал плечами.

Василь Васильич в третий раз набрал номер.

— Нету, — и выругался. — Ладно. Приходи завтра, подумаем, Вправим ему, гадюке, мозги. В Израиль ему, видите ли, надо. Тут ему плохо... Ладно, иди. Звякни с утра...

Они распрощались.

2

Абраму Лазаревичу в июле должно было исполниться шестьдесят. Значит, с июля он мог перейти на пенсию. Мог, но не собирался. Во-первых, не понимал, что он будет делать без работы. Во-вторых, после смерти жены в нем укрепилось желание уехать к сестре в Израиль. Мысль эта зародилась в нем еще после июня 67-го года, но тогда он об этом просто подумывал, как о чем-то несбыточном, сейчас же, оставшись один с сыном, решил вдруг — поеду...

Почему он так решил? Он и сам не мог бы ответить толком.

Захотелось вот. Хотя в раннем детстве он и учился в уманском хедере, и отец его регулярно ходил в синагогу, сам он никакой тяги к еврейской религии, как и вообще к религии, не питал. Учился потом в украинской профшколе, в институте. Еврейского языка почти не знал. Забыл, друзья у него были и русские, и украинцы, и евреи. Кто из них кто — он даже не знал, в то время на это не обращали внимания. Потом воевал. В армии же вступил в партию. Был ранен и контужен. Контузия до сих пор дает себя знать. В полку к нему относились хорошо, — служил он полковым инженером, никаких проявлений антисемитизма на себе не чувствовал. Почувствовал уже после войны, в 49-м году, в период так называемого космополитизма. Правда, и тут непосредственно его эта кампания не коснулась, но кое-кто из его друзей пострадал. Именно тогда в груди впервые что-то защемило. За что? Почему его стали выделять? В чем виноват Веня Любомирский, которого уволили с работы? В том, что у него какая-то тетка где-то

в Америке? Ведь он никогда в жизни ее не видал, и родители с ней даже не переписывались. Живет, ну и пусть себе живет. Никому она не мешает. А вот, оказывается, мешает. А Гриша Моргулис? Угодил даже в лагерь. И тоже из-за тетки или дяди. Но те хоть писали, приглашали. И это показалось кому-то подозрительным — связь с границей. У всех на устах было слово «Джойнт» — страшное, пугающее, непонятное. Затем «Почта Лидии Тимошук», дело врачей... Становилось все страшней и страшней.

Потом как будто спало. Но «пятая графа» все же осталась, и соседского Сашку не приняли в институт, хотя он набрал 14 баллов при 13 необходимых. Из правительства исчезли все евреи, один только Дымшиц остался, и Михоэлса, и Зускина не вернешь, и не знаешь, что ответить десятилетнему Борьке, когда тот со слезами на глазах возвращается из школы и спрашивает тебя: «Что такое жидовская морда?»

И все же стало легче. На работе все спокойно.

И вот, на тебе — нагрянул 67-й год, с шестидневной своей войной. И невольно, само собой как-то получилось, в войне этой он принял сторону не арабов, а израильтян. Газеты не писали об этом, они писали противоположное, но мало-мальски здравомыслящий человек понимал, что агрессором в этой войне был именно Насер.

Требование вывода войск ООН из зоны Суэцкого канала, блокада Акабского залива, истерические антиеврейские манифестации в Каире, «Сотрем с лица земли всех евреев!» — все, как будто, так ясно. И победу двухмиллионного израильского народа над ста миллионами арабов, которые просто не хотели воевать, он, Абрам Лазаревич, невольно считал победой своего

народа, своей победой. И ему захотелось разделить нелегкую судьбу своего народа.

Вот тут-то и стали ему объяснять, что он ошибается. По радио, в газетах, в письмах знатных фрезеровщиков, балерин и Героев Советского Союза ему доказывали, что Родина его — Советский Союз, а все эти Моше Даяны и Голды Меир — сионисты, агрессоры и оккупанты. И никакого «своего» народа нет. Есть граждане Советского Союза еврейской национальности, и им предоставлены те же права, что и другим национальностям. Право на труд, отдых, образование, обеспеченную старость. Чего ж ему еще надо?

Чего? Очень немного. Свободы самому принимать решение. Он никого — ни партию, ни правительство, ни в чем не обвиняет, просто он хочет получить разрешение на поездку в Израиль. Для чего? Это его личное дело. Там у него сестра, которую он не видел сорок с чем-то лет, там племянники, там маленький, смелый народ, объединившийся, чтобы защищать свое право на существование, на свою свободу. Вот он и хочет быть с этим народом. Кто ему может запретить? Какие на это есть основания? Воевать он ни с кем не собирается — ни с арабами, ни с турками, будет работать себе тихо в каком-нибудь кибуце, возделывать землю, пасти овец и, если надо, платить взносы в партию, Микуниса или Вильнера — это уже другой вопрос. Одним словом, он просит разрешения на выезд.

— Ну, ты просто ненормальный, — твердили ему друзья. — Неужели ты не понимаешь, что это чистейшей воды антисоветская акция? Что никто такого разрешения тебе не даст. Наконец, если почему-либо и пустят тебя,

то никогда не выпустят Борьку, ему через четыре года в армию идти. Не к Моше же Даяну!

Все это он понимал. Но он понимал и другое, что ему просто все это надоело. Надоело читать в газетах письма Плисецкой и Натана Рыбака, смотреть в телевизор, как опускает глаза на пресс-конференции Аркадий Райкин, слушать выступления какого-то доцента Фридмана в Бабьем Яру о том, что кровь жертв Бабьего Яра на руках сионистов. Зачем ему все это? Его убеждают, что он живет в свободной стране, в самой свободной из всех — вот пусть ему и дают свободу выбирать. Он глуп? Может быть. Он не спорит. А Борька как считает, прав его отец или нет?

Борька молчал. Ему минуло пятнадцать лет, он уже брился и начал даже курить, но политикой еще не интересовался. Он понимал, что отец затевает что-то неодобряемое его друзьями, но поскольку авторитет отца для него был непререкаем, он не говорил ни да, ни нет, просто молчал.

Друзья махнули рукой. Что с ним поделаешь. С тех пор, как умерла жена, с ним просто невозможно разговаривать. И, будучи людьми осторожными, свели разговоры до минимума, во всяком случае, на эту тему. Пускай делает что хочет — не ребенок.

3

Николай Александрович всю ночь не спал. Вертелся с боку на бок, пил воду, принимал димедрол, элениум. Ну что ему с этим идиотским Юфой делать, как поступить? Ну хорошо, Василь Васильич знает и скажет, но все эти беседы, собрания проводить ему, а не первому секретарю. Характеристика... Какую к черту характеристику можно дать? О чем? Куда? А Женька, этот двадцатилетний балбес, только смеется. «Не волнуйся, папочка, коммунисты тебе подскажут. Один за другим будут брать слово, вылезать на трибуну и клеймить этого твоего Юфу за политическую близорукость, отсутствие четких партийных критериев, беспринципность. Ну и еще в двадцати семи смертных грехах. Ты мне скажешь, когда будет собрание? Обязательно пойду».

Ну что с этими мальчишками делать? Растут, над всем иронизируют: «Еще Маркс сказал: все подвергай сомнению» (слушают всякие там Би-би-си и «Голоса», и какой-то там Анатолий Максимович Гольдберг для них большой авторитет, чем собственный отец). Вчера вот, за чаем, сидят с этим его Эдиком из политехнического и рассуждают: «Восточная Пруссия, или как ее там теперь, Калининградская область, — оккупированная зона или нет? А Силезия, Штеттин? Огнем и мечом завоеваны, ведь так? Даже Брандт и тот признал границу по Одере-Нейсе, виноват, Одер-Ниссе. Почему же тогда Газу и Синайский полуостров мы не признаем? Где же логика? А Закарпатье, Советская Буковина? Ведь в Ужгороде даже по-украински никто не говорит, только по-чешски, по-венгерски. Нет, папуля, с логикой у вас далеко не все в порядке. Впрочем, если мне не изменяет память,

именно по этой дисциплине у Владимира Ильича была четверка, а не пятерка, единственная в дипломе».

Ну, как с ним спорить? Все знает лучше тебя. О чем с ним не заговоришь, только поучает или поражается твоей некомпетентности. «Как, неужели ты не знаешь, что все западные компартии, все «Юманитэ», «Унита», «Морнинг Стар» приветствовали Солженицына с Нобелевской премией? В один голос. Выдающийся, мол, писатель, продолжатель великих гуманистических традиций русской литературы. Неужели в ваших газетах ничего об этом не писали?» В ваших газетах, как вам это понравится? Ну что с ним делать, что?

Николай Александрович тянулся за папиросой, чиркал спичкой — четвертый час уже, будь он неладен, — и, повернувшись на другой бок, пытался считать до ста.

К десяти Николай Александрович был уже в райкоме. Василь Васильич сидел хмурый, недовольный.

— Ну что ж, надо партсобрание собирать, — мрачно сказал он, — я тут уже кое с кем проконсультировался.

— Ну и..?

— Что — ну и? Собрать и все. Пусть коммунисты выскажутся.

— О чем?

— Как о чем? Какой ты бестолковый, ей-богу. Сам говоришь, ЧП, значит, обсудить надо.

— Ну, обсудим, а дальше? Как с этой характеристикой быть?

— Какая там к черту характеристика! — рассердился вдруг Василь Васильич. — Ударить крепко надо, чтоб не

повадно было. С такими вещами не шутят. Вызови его перед собранием, поговори на бюро, объясни этому олуху, что коммунисты так не делают. Учить мне тебя, что ли?

Николай Александрович молчал.

— Что молчишь? Не ясно, что ли?

— Ясно то ясно...

— Ну а если ясно, то действуй, доложишь мне потом. Если надо, сам на собрание пойду. Или второго пошлю.

Николай Александрович ушел.

Высокий, плечистый, на вид такой уверенный, спокойный, с медалью 100-летия со дня рождения Ленина, он шел и, равнодушно поглядывая на прохожих, мучительно думал, какое же принять решение? Исключать, что ли? Или строгий выговор? Нужно же было старику всю эту историю затевать! Дожил до пенсии!— ну и уходи по добру по здорову на покой, если не хочешь работать. Или работай, если не хочешь выходить на пенсию. Так нет — Израиль ему понадобился. Свихнулся совсем!

Человек по натуре не злой, даже мягкий, Николай Александрович больше всего в жизни боялся каких-либо осложнений. Решения принимать ему тоже было трудно. Особенно крутые. По тону Василь Васильича он понял, что с Юфой надо быть жестким, а этого он тоже не умел.

Был ли он антисемитом? Пожалуй, нет. Но как дисциплинированный член партии, он верил, что определенные ограничительные меры по отношению к евреям, очевидно, не зря существуют. Народ они

энергичный, напористый, сметливый, устраиваться умеют, вот и надо их как-то сдерживать. Его нисколько не удивляло и не волновало, что евреев не допускали к дипломатической и руководящей партийной работе, что детей их с выбором принимают в институты. Так надо, что поделаешь. Им наверху виднее. Вот если б еще сионисты не раздували кампанию, все было бы спокойнее. Впрочем, тут Николаю Александровичу не все было ясно. В арабо-израильской войне он, хотя и поддерживал на словах арабов, понимал, что не все ладно, что деньги и оружие, которые мы им дали, валяются в бездонную пропасть, и что денежки эти и танки они берут у нас, коммунистов, а своих коммунистов сажают. Одним словом, неразбериха какая-то.

Придя в институт, Николай Александрович хотел собрать партбюро, но из пятерых на месте оказалось только двое, поэтому пришлось назначить на завтра.

Вернувшись домой, сразу же попал под обстрел Женьки.

— Ну, как, пахан, дела?

— Какие дела? — не понял отец.

— Да с израильтянином этим твоим?

— А ты откуда знаешь?

— Знаю. Я все знаю.

— Что надо, то и будем делать, — уклончиво сказал Николай Александрович.

— А что надо?

— Не лезь в дела, которые тебя не касаются!

— Интересно, почему это не касаются?

— Потому что не касаются.

— Логичный ответ, ничего не скажешь.

Николай Александрович ничего не ответил.

— Исключать что ли будете? — не унимался Женька.

— Посмотрим... — все так же уклончиво сказал Николай Александрович.

— На что посмотрим?

— Что скажут коммунисты.

— Что скажут... что им скажут, то и они скажут, — Женька иронически-испытующе посмотрел на отца. — В чем же его преступление?

— Какое там преступление, — Николай Александрович стал раздражаться. — Неужели тебе не понятно?

— Нет, не понятно.

— Не понятно, что гражданин Советского Союза, да еще коммунист, — делая ударение на каждом слове, сказал Николай Александрович, — уезжая в капиталистическую страну, да еще такую, как Израиль, наносит тем самым оскорбление, делает вызов всем нам — и тебе в том числе.

— Какой же это вызов? В декларации прав человека, которая, надеюсь, тебе известна и которую подписал Советский Союз, черным по белому написано, что всякий человек может жить там, где он хочет. Какое же тут оскорбление?

— Не говори глупостей.

— Ай, папа, папа, зачем так? Скажи еще, что он изменник Родины.

— Да, если хочешь. Родина его здесь, а не там, и она никогда не простит ему... В Израиль ему, видите ли, надо, тут ему плохо.

— А может, и плохо, откуда ты знаешь? Вот Сомерсет Моэм, например, английский писатель, подданный Британской империи, захотел жить и жил всю жизнь во Франции, на Лазурном берегу, ему там больше нравилось. Что ж, по-твоему, он тоже изменник родины? Пикассо живет во Франции, в Испанию ездит только на корриды. Хэмингуэй, наконец, жил на Кубе, враждебной США Кубе...

— При чем тут Хэмингуэй? И вообще, отстань, у меня голова болит!

Женька свистнул и комически пожал плечами.

— Виноват, не буду. Дать тебе пирамидончику?

— Спасибо, не надо.

На этом разговор окончился.

4

Членами партбюро были: Никифоров, инженер, Абашидзе, тоже инженер, начальник отдела кадров Антипов, директор института — он сейчас был в отъезде, Кошеваров, и он — Николай Александрович.

Никифоров был молод и интересовался больше своими личными довольно запутанными делами, чем партийными. Абашидзе через неделю должен был идти в отпуск и всем своим существом находился в Тбилиси. У Антипова со вчерашнего дня повысилось давление и он все время щупал свой пульс. Директора не было, и получилось так, что принимать решение и выносить предложение должен был он, Николай Александрович.

Колеблясь, побаиваясь, что, может быть, слишком мягко обходятся с Юфой, и в то же время боясь перегнуть палку — партвзысканий у того до сих пор не было, — он предложил вынести строгий выговор с предупреждением за политическую близорукость и беспринципность. Предложение, против его ожидания, было принято единогласно, хотя Антипов все же сказал, что таких типов надо просто гнать, но на этот раз, так и быть уж, учитывая, что старик воевал и т.д., можно ограничиться строгачем.

На этом и разошлись. У Николая Александровича немного отлегло от сердца. Пронесло.

Но впереди было партсобрание.

Назначено оно было на четверг, на шесть часов вечера.

Оставшиеся до четверга два дня Николай Александрович был сумрачен и неразговорчив. По мере возможности избегал Женьки, который поглядывал на него иронически и без всякого сочувствия. Вопросов сам не задавал, но один раз, между делом, сказал по какому-то поводу матери: «Не тревожь отца, он определяет и никак не может определить свою послезавтрашнюю позицию». Мать промолчала, он тоже.

Но наступил, наконец, четверг. Шесть часов. Из райкома пришел второй секретарь Крутилин, человек ограниченный, самоуверенный, любивший поговорить и произносивший слова «империализм» и «капитализм» с мягким знаком после «з» — это осталось у него еще от Хрущева.

Народу собралось довольно много. Устроились в кабинете замдиректора Иннокентия Игнатьевича Игнатьева. Перед началом он подошел к Николаю Александровичу и доверительно сказал, что беседовал сегодня по телефону с директором и что тот очень жалеет, что не может быть на собрании, что этих «французов» он хорошо знает, от них можно ждать чего угодно, и вообще, цацкаться с ними нечего.

— Как вы понимаете это выражение? — поинтересовался он, внимательно глядя Николаю Александровичу в глаза.

— Ну как... Не цацкаться.

— То есть?

Николай Александрович уклончиво сказал:

— Вот послушаем коммунистов.

Иннокентий Игнатьевич отошел неудовлетворенный.

— Итак, — начал Николай Александрович, заняв свое место за громадным замдиректорским столом, — на повестке дня один вопрос: персональное дело коммуниста Юфы Абрама Лазаревича.

Абрам Лазаревич сидел рядом, маленький, грустный, в поношенном пиджачке со скромной орденой планочкой на груди. На коленях у него была папка и лист бумаги.

— Есть какие-нибудь другие предложения?

Их не оказалось. Избрали президиум из трех человек и секретаря, как всегда, машинистку Бронечку — пышную хорошенькую блондиночку.

Началось изложение дела.

Волнуясь, поэтому часто запинаясь и злоупотребляя буквой «э», Николай Александрович сказал, что ему как секретарю партбюро было вручено коммунистом Юфой А. Л. заявление (он вручил его ему сегодня утром — лаконичное, из трех строчек) с просьбой выдать ему характеристику на предмет выезда его с сыном в Израиль.

Воцарилось молчание, самое тяжелое из всех молчаний, когда каждый соображает, говорить ему или нет, и если да, то когда и что именно.

Абрам Лазаревич исподлобья оглядел всех своим печальным иудейским взглядом.

Вот сидит во втором ряду Саша Котеленец. Они с ним когда-то вместе учились. Он, Юфа, помогал ему кончать проект кинотеатра на 300 мест, навел тушью планы. Вроде как дружили. А рядом с ним всем всегда интересующийся Борис Григорьевич, его сосед по столу. «Ну, что они вчера передавали?» — спрашивает он

каждое утро, оглядываясь по сторонам. Только сегодня он ничего не спрашивал, знал уже о партсобрании. А за ним первый преферансист института, главный говорун на всех собраниях Шапиро. Когда принимают очередную резолюцию и все умирают от усталости, он обязательно внесет какую-нибудь поправку, вроде вместо «выражает пожелание» — «выражает настойчивое пожелание», и опять в двадцатый раз надо голосовать, долговязый, лысеющий, с «внутренним займом» на голове Ходоров. Известен только тем, что на собраниях ему поручают читать закрытые письма и резолюции — у него мерзкий, громкий, в коридоре слышный голос, и вот все же читает закрытые письма и очень этим гордится. А Черткову всегда доверяют выдвигать кандидатуры. Сергей Никитич — кругленький, лоснящийся, очень смешливый, любитель рассказывать анекдоты. Причем смеется всегда раньше слушателя. Плоская, как доска, похожая на гувернантку Раиса Прокофьевна, несмотря на свой возраст то и дело удлинняет или укорачивает свои юбки и очень любит на эту тему говорить. И всех их, или почти всех, он знает, знает, что у кого дома, у кого какое давление, когда был последний спазм, и какая температура вчера была у Вадика, с каким счетом кончился хоккейный матч с Чехословакией и читали ли вы в воскресном «Вечернем Киеве» о жуликах из ателье мод? И все они, все эти Саши Котеленцы, Борисы Григорьевичи, Шапиро, Ходоровы, плоские, как доска, Раисы Прокофьевны, как будто неплохо к нему относятся, часто советуются, одалживают до получения деньги, а ко дню его пятидесятилетия преподнесли громадный торт с надписью из крема «Дорогому юбиляру» и с цифрой «50».

И вот всем им надо сейчас говорить, или слушать и молчать, что немногим легче.

— Есть у кого вопросы? — слышался голос Николая Александровича.

Опять молчание — тягостное, предгрозовое. От первого вопроса, первого слова многое зависит. Не так от вопроса, конечно, как от первого слова, но и от вопроса, от цели, с которой он поставлен. От его интонации тоже в какой-то степени зависит дальнейший ход всего.

На этот раз после несколько затянувшейся паузы, дважды перебиваемой баруздинским «Ну так кто же?», задал его райкомовец.

— С какой целью вы хотите ехать в Израиль? — спросил он, глядя широко расставленными, немигающими глазами на Абрама Лазаревича.

Тот тихо ответил:

— Без всякой цели. Просто хочу там жить.

— В Израиле?

— Да, в Израиле.

— Под крылышком у Голды Меир и всяких там Моше Даянов?

— Ни под каким крылышком, — так же тихо сказал Абрам Лазаревич, — я их никого не знаю. Просто хочу жить в Израиле.

— Ясно, — с видом, как будто он уже разоблачил шпиона, сказал райкомовец и что-то записал,

Потом было еще несколько вопросов. Где он родился, где его родители, есть ли у него родственники

за границей, когда и где вступил в партию, был ли на фронте и где именно. Этот последний, явно сочувственный, был задан Сашей Котеленцом. Был еще один. Спросил никогда не пускающий на ветер слова инженер из техотдела Вилюйцев — кстати, три дня тому назад он одолжил у Абрама Лазаревича до понедельника пять рублей, — спросил, какую политическую оценку он, Юфа, может дать своему поступку.

Абрам Лазаревич кратко ответил:

— Никакой.

На этом вопросы кончились.

Взял слово — то самое, направляющее, задающее тон, секретарь райкома. Он говорил долго, минут двадцать. Начав с оценки ближневосточных событий, он разоблачил американо-израильский сговор, направленный на дальнейшее разжигание войны, дал яркую характеристику грязным сионистским провокациям, гневно осудил недостойные происки американских лакеев госпожи Меир и небезызвестного Моше Даяна, и, тем самым заложив фундамент, перешел к сути дела, к позорящему звание коммуниста решению Юфы попытаться изменить своей родине.

— Вы, гражданин Юфа (он уже не говорил «товарищ»), своим позорным поступком втоптали в грязь самое чистое, самое святое, что у нас есть — свою партийную совесть. Вы, которого так любовно воспитала родина, плюнули ей в самую душу. Плюнули в лицо партии. За каких-нибудь жалких тридцать серебряников вы продали свою душу сионистским экстремистам, ползаете перед ними на коленях и выторговываете себе жалкий кусок каравая на чужом столе.

Вы гадите в собственное гнездо. Вольно или невольно превратились в оружие хватающихся за соломинку агентов империализма (с мягким знаком), всяких там раввинов Кахане и прочих молодчиков антисоветского, псевдосионистского отребья...

Абрам Лазаревич, склонив голову, слушал все это и почему-то думал не о сути сказанного, а пытался уяснить себе, кто, когда, за что и как вручал ему тридцать серебряников, какой кусок каравая он выторговывает, за какую соломинку хватаются агенты империализма и зачем им это вообще надо, и почему молодчики из отребья названы псевдосионистскими. Все это у него крутилось в голове, всплывая и куда-то оседая, а сама суть, страшная, пугающая, как-то не доходила до сознания, проходила мимо со всеми своими плевками, душами и гнездами.

— Не место таким людям в рядах нашей партии! Не место им на нашей земле, под нашим солнцем — ярким, сияющим, зовущим на новые дела, на новые вдохновенные подвиги.

Так закончил свою речь секретарь райкома и, окинув, не глядя на Юфу, весь зал хозяйским, дающим понять, как надо себя вести, взглядом, сел на свое место.

«Да, строгачем здесь не отделаешься», — тревожно подумал Николай Александрович и невольно скосил глаза в сторону секретаря райкома, словно ища у него поддержки. Тот поймал косой этот взгляд и негромко, но так, чтоб президиум слышал, сказал:

— Ясно теперь?

Николай Александрович молча кивнул головой.

После секретаря выступило еще человек десять-двенадцать. Говорили не сходя со своих мест, кто погромче, кто потише, но в общем-то одно и то же. Все говорили о том, что родина и партия его вскормили, дали образование, потратили на него деньги, холили лелеяли, и он, неблагодарный, позарился на тридцать серебряников (этих серебряников не упустил никто, а кто-то сказал даже «триста») и этим превратил себя во внутреннего эмигранта (или отщепенца, ренегата, ревизиониста — тут были разные варианты) и тем самым поставил себя в положение человека, не имеющего права на родину — она с презрением изгоняет, выдворяет его из своих пределов.

Абрам Лазаревич слушал, рисуя что-то на лежавшей у него на коленях бумаге, и удивлялся не столько тому, что говорили (хотя думал, что это будет менее цветисто), а тому, кто говорил. О «выдворяющей его родине» сказал не кто иной, как его партнер по преферансу Шапиро, утверждавший, что говорит он, как «полноправный гражданин Советского Союза еврейской национальности и говорит от имени всех трудящихся евреев великого нерасторжимого братства народов, именуемого Союзом Советских Социалистических республик!» (тут ему даже заплодировали). А Вилюццев, тот самый, что взял у него до понедельника пять рублей (интересно, как он их будет отдавать и отдаст ли вообще) сказал, что если гражданин Юфа (с легкой руки секретаря райкома все его стали именовать именно так) протянул бы ему руку мира и раскаяния, он не пожал бы ее, так как ему было бы противно. Борис же Григорьевич — сосед по столу, интересовавшийся по утрам «что же вчера передавали?», вылив ушат помоев на голову небыизвестного горе-премьер-министра из Тель-Авива

(«Кто вам дал право, госпожа Меир?..»), вспомнив сорок девятый год, заклеил Юфу как вконец зарвавшегося пигмея, безродного космополита. Но больше всего было смотреть на растерянного, со срывающимся голосом Сашу Котеленца. Он не произнес ни одного дурного или позорящего его слова, никого ни к чему не призывал, никого не выдворял, «гражданина Юфу» называл по имени-отчеству, упомянул о его боевом пути от Волги до Одера, но слишком много у него было «хотя», «я, конечно, понимаю», «не мне судить» и т.д. Кто-то из зала даже выкрикнул: «Не юли! Говори прямо: за или против?!»

Вообще Абрама Лазаревича больше всего удивлял, даже не удивлял, а огорчал тот темперамент, та горячность, с которой выступали те, от кого он меньше всего этого ожидал. А не ожидал этого от Шапиро, от Бориса Григорьевича, от того же Вилюйцева, который обычно взвешивал каждое свое слово, боясь, что когда-нибудь, на Страшном Суде, ему все припомнится. Огорчало это, огорчало и другое, противоположное — выступления, затверженные как урок, краткие монотонные вереницы слов, все эти Партия, Правительство, долг, родина... Произносили их опустив глаза, держась за спинку стула и так тихо, что иногда просто не было слышно...

И вдруг — Абраму Лазаревичу показалось, что он ослышался — раздались откуда-то из глубины зала совсем другие слова. Молодой, лет двадцати, не больше, парнишка — Абрам Лазаревич видел его впервые, — загорелый, белозубый, похожий на волейболиста, попросил слова и, когда, пошептавшись в президиуме меж собой (в зале уже раздавались призывы прекратить

прения), его ему дали, заговорил взволнованным прерывающимся голосом.

— Я не понимаю, что происходит, товарищи... Ей-богу, не понимаю. Вот сидит на стуле товарищ, я его не знаю, в первый раз вижу, слова ему не дают, а говорят о нем, как о разоблаченном уже шпионе. И родине, мол, изменяет, и серебряники там какие-то, и еще что-то, еще что-то...

Голос из зала: «В порядке ведения собрания — как фамилия оратора и откуда он?».

— Фамилия Кудрявцев, — возбужденно ероша волосы ответил парень. — А откуда? Слесарь я. Работаю недавно, второй месяц только, кандидат партии. Устраивает?.. Так о чем это я? Да, так вот, не понимаю я... Сидит перед вами вот человек, воевал, тут об этом даже говорили, и что ранен был, тоже говорили. Человек немолодой, значит, и работал он немало, может, и отработал что на него потратили, и вот этот самый человек хочет куда-то уехать...

— Не куда-то, а в Израиль! — перебивают с места.

— Ну, пусть в Израиль, не все ли равно. Ну и пусть едет. Зачем его держать? Не хочет с нами? Не надо. Зачем хватать за фалды? Может, у него там сестра, брат, сват, родственники какие, тут уже спрашивали. Пусть и едет к ним. Пусть из нашей компартии в ихнюю переходит, есть у них там, кажется. А тут сразу — изменник, и такой, и сякой, и империализм, и капитализм, и черт-те что... Слова все страшные, прилепят — не сорвешь. Нехорошо это, ей-богу... — он опять провел рукой по своим вихрам. — Вот такое мое мнение. И вообще, надо дать человеку слово...

Парень гулко вздохнул и весь красный сел на свое место. В зале поднялся шум. Кто-то крикнул «Перерыв!», кто-то предложил дать слово Юфе, но взял его, опять-таки в порядке ведения собрания, так сказать, реплики, Иннокентий Игнатьевич, замдиректора.

Изящный, интеллигентный, в плотно обтягивающем его светло-сером пиджачке, он встал и сказал своим хорошо поставленным приятно модулирующим голосом:

— Хочу спросить у нашего молодого, столь темпераментно выступившего товарища. Хочу спросить его, неужели он не понимает, что отпуская «немало поработавшего у нас инженера Юфу» за границу, мы отпускаем не просто инженера, а человека, много знающего, много выдавшего, много ездившего по заводам, по шахтам и выдавшего там кое-что, что может быть, и не всякому положено видеть. Понимаете ли вы это или нет? Что, может быть, за какие-нибудь интересующие кое-кого сведения инженеру Юфе, если не все тридцать, то пару серебряников в виде долларов и отвалят? А? Что вы на это скажете?

Парень резко выбросил вверх руку: «Скажу!» — Но сказать ему не дали. Объявили перерыв.

5

Коле Кудрявцеву, «нашему молодому, столь решительно выступившему товарищу», было года двадцать два-двадцать три, не больше. Работал он в институте недавно, до этого служил в армии. Богатство его было невелико — неотягощенная мыслями и заботами голова, упругие, молодые мышцы, миловидная Леночка, студентка какого-то техникума, койка в общежитии, где-то в деревне родители и умение и желание видеть в жизни только хорошее и веселое. Пил в меру, в дни получки, книгами увлекался тоже в меру, так, когда вечером делать нечего и нет хоккея или футбола по телевизору, взносы куда надо платил аккуратно, в газетах читал последнюю страницу и всем остальным предпочитал «Вечерку» и «Советский спорт». Одним словом, парень как парень. Но была у него и еще одна черта, возможно и выделяющая его среди других — он видел в людях больше хорошего, чем дурного. Ему всегда казалось, что если человек и сделал что-нибудь дурное, то по ошибке, и сам это понимает или поймет. «Ну бывает, с кем не случается, — говорил он, разнимая повздоривших друзей, — иди ложись, утром разберемся». И укладывал и того, и другого, а утром приносил по бутылке пива. Товарищи его поэтому любили, а так как он к тому же был сильнее многих в вышеупомянутых конфликтах, участники их обычно мирно расходились по койкам. Кто-то в шутку его назвал «доктором Яррингом», и с тех пор эта кличка, превратившаяся просто в «доктора», сохранилась за ним навсегда.

И еще одним качеством наделен был Коля Кудрявцев. В нем мало развиты были так называемые

сдерживающие центры. Одни называли это «лезть очертя голову», другие убеждали «не лезть поперед батька», третьи советовали просчитать сначала до десяти, и, наконец, самые разумные говорили: «Не суйся, куда тебя не просят, знай сверчок свой шесток».

Но Коля ни сверчком, ни шестком интересоваться не хотел, больше восьми досчитывать не успевал и в пекло лез всегда очертя голову раньше батьки. Что будет, то будет...

Так случилось и на собрании. Войной на Ближнем Востоке он особенно не интересовался, знал только, что арабы воевать не могут и не умеют, — а евреи, наоборот, умеют и что их в десять раз меньше, и территория у них с гулькин нос — вот и все. Поэтому все касаемое этой войны и самого Израиля он в общем-то пропустил мимо ушей. Нет, он просто видел, как все набросились на одного маленького, молчащего, пожилого человека, а тот сидит себе съезжившись и что-то записывает. И это его возмутило.

Еще больше возмутило то, что во время перерыва к нему подошли двое из президиума и стали выговаривать за его поведение. Один высокий, плечистый — он знал, что это секретарь партбюро, другой тот, который первым говорил.

— Кто тебя надоумил так выступать? — допытывался он. — Не знаешь же в чем дело, не лезь. Сначала послушай, разберись хорошенько, кто да что, тогда и бери слово. А то с бухты-барахты — бьют, мол, лежащих.

— А что, не бьют? — парировал Николай.

— Значит, надо. И мало еще били.

— Ну и бейте, а я не собираюсь.

— То есть, как это не собираешься? Ты с какого года в партии?

— Я кандидат. В армии еще вступил, в прошлом году.

— Так ты же дитя, ни в чем еще не разбираешься. Молоко еще вон на губах. А еще туда же со своим мнением. Мнение старших ему, видите ли, не интересно. Свое, мол, имею. Вся рота идет не в ногу, а я в ногу. Уши надо иметь и вот тут чтоб кое-что ворочалось. Ясно?

Сказано это было, если и не угрожающе, то во всяком случае достаточно директивно.

— Кстати, — добавил он, — ты по собственной инициативе выступал? Или кое с кем беседу имел? Никто к тебе до собрания не подходил?

— Никто.

— С Юфой не знаком?

— Первый раз вижу. Я же говорил об этом.

— И вообще, — вставил секретарь партбюро, — когда собираешься выступать, не обходи президиум, там тебе всегда помогут.

— Ладно уж, — буркнул Николай, — посмотрим, — и закурил. Дальнейшее убедило его, что правда, как ни пытались они это доказать, вовсе не на стороне тех двоих. Точнее, что понимают ее он и они по-разному, для них правда — это то, что бесспорно, не подлежит обсуждению, указано свыше, написано в газетах, для него же — что-то, может быть, и неуловимое, словами не скажешь, но что-то другое, что видишь сам, слышишь

сам, не от головы обязательно, от другого, от сердца, что ли.

И убедило его в этом выступление Юфы.

До Юфы выступал еще Антипов — член партбюро и начальник отдела кадров. Он, мол, не выступал до сих пор потому, что хотел ознакомиться с мнением коммунистов. В целом товарищи говорили правильно. Выступающие дали правильную оценку поведению Юфы и в мнениях своих были едины. Этого и следовало ожидать. Коллектив показал себя, в общем, здоровым, сплоченным, единым. Некоторое недоумение вызвало, конечно, выступление молодого товарища, но будем надеяться, что это по молодости лет, что он подумает и переосмыслит сказанное, прислушается к старшим товарищам. Не хочется думать, что товарищ говорил с чужого голоса, что у нас, к сожалению, еще практикуется. На этот раз поверим ему, он еще молодой, от ошибок не застрахован. Теперь же послушаем, что скажет нам Юфа.

В зале стало тихо.

Юфа встал, одернул пиджак, положил папку с бумагой на стул, поставил его перед собой, и, оглядев весь зал, начал тихо, с паузами, глядя иногда в потолок, иногда в окно.

— Мне через два месяца, 15 июля, минет шестьдесят лет. Возраст, как говорят, уже солидный. И подумать за все эти годы было когда. И было о чем. Я не буду вас утомлять, вы и так устали. Мне просто хочется, чтоб вы, здесь сидящие, поняли, что мною руководило, когда я подал в партбюро заявление.

Тут говорили много обидных для меня слов, я не хочу их повторять, говорили люди, которые знают меня не один год, и думаю, и верю, и надеюсь, что придя домой, они постараются скрыть эти слова от своих детей, поверьте, так будет лучше...

По залу прошел шумок. Абрам Лазаревич продолжал. Так же тихо, спокойно, как и начал. Он сам потом поражался своему спокойствию, и тому, что слова сами собой находились.

— Но не в этом дело. Дело в другом, более значительном, дело в сути моего заявления, в причинах побудивших меня его подать. Многим может показаться странным, и я это вполне понимаю, что человек, родившийся на этой земле и защищавший ее в годы Отечественной войны, а до этого учившийся и работавший, и после войны вот уже двадцать пять лет работающий, что человек с трудом читающий на идиш и совсем не знающий иврит, захотел вдруг, на старости лет, переехать в страну, где живут чужие ему люди, говорят на незнакомом ему языке, где другие, чужие порядки, где фактически идет еще война, не за твои интересы, а за интересы далеких для тебя людей. Понимаю, это может показаться странным. Но только на первый взгляд. Повторяю — только на первый взгляд.

Абрам Лазаревич сделал паузу, подошел к столу президиума, отпил воды из стакана.

— Человеку свойственно ко многому привыкать, — продолжал он, — к плохому и хорошему. Так привыкли мы к новому Крещатику, к новым домам, сначала с колоннами и арками, а теперь к коробкам, к башням. Смотришь на них и думаешь — вероятно, так и надо. И ходишь по этим городам. Ходишь, работаешь. А иногда

вдруг хочется в лес, хочется взять сына за руку и пойти с ним в лес... Вот и захотелось мне этого. Хотя в том лесу есть, может быть, волки.

— А не гиены? — крикнул кто-то из зала. — И вообще, нельзя ли без басен? — выкрикнул еще кто-то. Абрам Лазаревич поднял руку.

— Можно... Мне трудно сейчас говорить, трудно разобраться, насколько искренни были выступавшие здесь ораторы, насколько верят они тому, что сами говорили. Я же буду с вами откровенен. Мне нечего скрывать, да и незачем. — Он заговорил громче. — Я лично не чувствую на себе никаких признаков антисемитизма. Но разве это значит, что его нет? Он есть. (Шум в зале, Баруздин стучит карандашом по графину: «Порядок, порядок»). Да, он есть. И дело не в том, что передают иногда по радио — нету, мол, еврейских школ, еврейских газет, мало синагог... (Голос из зала: «И Би-би-си значит, слушаете?») Не в этом дело. И не в том, что кто-нибудь в пьяном виде, а иногда и не в пьяном, скажет «жид». А в том, о чем не принято говорить, но о чем все знают. В процентной норме в институты и некоторые учреждения, в том, что учитель, увидев у моего сына в альбоме израильские марки, велел их тут же выкинуть, что книги на еврейском у тебя изымаются, что у человека, который хотел возложить венок к камню на Бабьем Яре, потребовали, чтоб он сначала перевел надпись на венке, сделанную по-еврейски, а потом так и не разрешили его возложить. А третьего дня, например, в ОВИРе в отделе виз милиции так прямо и сказали, когда пришел туда за анкетами, майор с медалью на груди: «Моя б воля, собрал бы вас всех в кучу и без всяких там бумаг, коленкой под задницу — и наше вам... Нечего небо тут коптить, воду мутить,

провокации разводить...» Как это можно назвать? Дружбой народов? И вот после этих слов, сказанных тебе прямо в глаза, твое желание поехать в маленькую, строящую свою жизнь страну, где никто и никогда, в пьяном или трезвом виде, не назовет тебя «жидом», — это желание назовут изменой родине, а тебя заподозрят в намерение что-то кому-то продать... Вот это самое обидное.

Здесь Абрам Лазаревич остановился, повернулся в сторону президиума, хотел что-то еще сказать, но махнул рукой и сел. Сел, и тут почувствовал вдруг слабость, дрожь, даже вроде слегка затошнило. Порывшись в боковом кармане, принял таблетку.

По залу прокатилась глухая волна, и, хотя никто ничего не выкрикнул, Николай Александрович постучал карандашом по графину: «Тише, тише, товарищи». А сам в это время думал: «Что же теперь надо делать? Исключать, что ли?»

А Абрам Лазаревич думал: «Для чего он все это говорил? Кому и что он доказывал? В чем хотел убедить? В чем оправдывался? Нашел, видишь ли, трибуну для обличительных речей. Димитров на Лейпцигском процессе...»

А Коля Кудрявцев, в свою очередь, ворочая тяжелыми, как камень, мыслями, задавал себе вопрос: чем этот, такой безобидный на вид, Юфа не угодил всем остальным и почему всем так хочется его утопить?

«А потому, что не похож на них», — сам ответил он себе. «Потому и топят, гады». И ужасно захотелось кому-то дать в морду, кому-то с лицом райкомщика и секретаря партбюро, и застегнутому на все пуговицы

замдиректора, и всему президиуму, всем сидящим в этом зале.

6

Вечером, лежа на диване, укрытый пледом, — почему-то слегка знобило, хотя день был теплый, даже жаркий, — Абрам Лазаревич говорил своему сыну, пятнадцатилетнему Борьке:

— Ты б видел, Борис, с какими лицами все расходились после собрания. Вынесли человеку приговор и скорей по домам — к женам, детям, внукам. А там, сидя за тарелкой борща, либо молча принялись хлебать, уставившись глазами в газету, либо бурчать, что есть еще на свете дураки, или, кто пооткровеннее, говорили: «Собрать бы их всех на пароход, со всем их барахлом и лупоглазыми абрамчиками — и скатертью дорожка, катитесь ко всем чертям к своим голдам... Кому они здесь нужны?» — Вот так то, Боричка... А твой глупый, во что-то верящий еще отец пытался им что-то еще доказать, объяснить. К чему? И кому? Когда вопрос поставили на голосование: «Исключать или не исключать», один, ты понимаешь, один только голос был против. Один только неведомый мне парнишка, слесарь, Кудрявцев, кажется, фамилия, отважился не согласиться со всеми, иметь свое мнение. Ну что ты на это скажешь?

Боря молчал, крутил какую-то проволочку.

— Я видел, как потом подошел к нему наш Баруздин и секретарь райкома, и еще кто-то, кажется, завкадрами, и отвели куда-то в сторону. Что они ему говорили?

А Коля Кудрявцев стоял в это время со своими приятелями в «Петушке» у стадиона «Динамо», и разливая в стаканы купленную в соседнем гастрономе водку, рассказывал о том, что ему говорили.

— И хотелось мне послать их всех к ядерной бабушке. И Баруздина этого, и мордатого из райкома, и гниду эту белесую, зав кадрами. Эх, как хотелось, кулаки чесались, да как сделаешь? А? Как? Ты, видишь ли, говорят, против партии встаешь. Подонков защищаешь. Разве не видишь, что подонок, дезертир, реваншист, ну и пошли, и пошли... А я им говорю — кто подонок, я еще не знаю, а ополчились вы на него потому, что не похож на вас. Вот и все. Как вырвалось это у меня — не знаю, но вот вырвалось. А они смотрят на меня, глаза сузились, и говорит этот самый, из райкома, главный ихний, что больше всех еврея топил, говорит: «Ладно, поговорим еще с тобой, вправим мозги». — «Попробуйте», — сказал я, закурил беломор и хода...

— Так и сказал?

— Так и сказал.

— Ну это ты зря. Зачем на рожон лезть?

— Какой же это рожон? — удивился Николай. — И никуда я не лез. Сказал, что думал, и все.

Стоявший рядом за стойкой горбоносый, похожий на грека, черноглазый парень в тельняшке присвистнул.

— Этак ты, Колька, в два счета из рядов вылетишь.

— А нужны они мне такие. В директора я не собираюсь, в замы тоже, а деньги за партвзносы на это потрачу, — он щелкнул по бутылке пальцами. И вдруг заговорил серьезно, будто и хмель вышел. — Ряды, вот, говоришь, чего я в них пошел? Так, чтоб отстали. Вступай да вступай, говорят, молодой, демобилизованный, все впереди, таким, как ты, и строить будущее. Строить так строить, один черт. Ну, буду на собрания ходить, уровень повышать, может, умней стану,

и вступил. Карточку вручили. Учись, говорят, расти, по пути Ленина вместе с нами, вперед, к заре коммунизма. А где эта заря? Где она, я вас спрашиваю?

Тот же горбоносый, в тельняшке, криво улыбнулся:

— Впереди, куда шагаешь.

— А ну тебя, я серьезно спрашиваю.

Николай разлил остатки водки.

— Пошел я, значит, на это собрание. Персональное, говорят, дело какого-то там Юфы, инженера. Ну, думаю, проворовался там, расхитил какое-нибудь социмущество, послушаем. Надо таких на чистую воду выводить — кандидат я или не кандидат. А тут, смотрю, сидит себе на стульчике такой пожилой, лысый еврейчик, сидит, что-то на бумажке рисует, а его по мозгам, по мозгам, по мозгам!.. И такой ты, и сякой, и запроданец, и продаешь что-то, и родину не любишь, а она кормила тебя, поила, а ты заместо того, чтоб благодарить ее и вкалывать на всю железку, доллары хочешь получать... Как это так? Я не вытерпел и говорю: побойтесь бога, братцы, дайте человеку слово сказать, нельзя же так... Ну, дали... И сказал он... Хорошо говорил, душевно. Обиделся он крепко. За что, говорит, бьете? За то, что всю жизнь работал? За то, что воевал? Два ранения имею, контузию. Это, правда, другой говорил, не он. За это бьете? Нет, не за это. А за то, что не хочу я вместе с вами строить. Хочу уехать от вас...

Захмелевший Николай начал вдруг фантазировать и, изменив на свой лад выступление Юфы, свел его к тому, что казалось ему более убедительным. Желанию Юфы строить свое маленькое государство, где никто никогда не будет называть его «жидом».

— А его что, называли?— перебил горбоносый.

— Его? Не знаю, может, и называли. А может, и не называли. Но могли назвать, — Николай вздохнул. — Одним словом, дерьмо все это. Нельзя на одного наваливаться. И в грудь себя еще бьют — мы, мол, хорошие, правильные, за идею боремся, а тебя, гада, к стенке.

— Ну и что, исключили?

— А как же. Единогласно. Один я только был против.

— Ну и тебя, значит, исключат.

— Ну и пусть исключают. Не умру. — Николай посмотрел на пустые стаканы. — Еще по маленькой, что ли?

И взяли еще по маленькой. Потом еще. И оказались все в конце концов в милиции. И составили там протокол, а выписки из него разослали по месту работы.

Так закончился у Николая этот длинный, несуразный, заполненный разговорами и объяснениями, оказавшийся переломным в его жизни день.

* * *

И началась у Абрама Лазаревича с того дня страда, два раза в неделю ходил он по утрам в райком, и там, немолодой, в прошлом военный прокурор, член бюро, ныне именуемый партследователем, «вел с ним работу», выпрашивал, убеждал, запугивал, иногда угрожал: «Ну, как мне вам объяснить, — в сотый раз уговаривал он его — что, если вы заберете свое заявление обратно, все можно кончить полюбовно. Ни в чьих интересах

раздувать ваше дело, но и замять его нельзя. Ну, дадут вам выговор, запишут в дело — и квиты. Охота вам таскаться сюда каждый день и выслушивать мои поучения. Оба мы с вами не первой молодости, на своем веку кое-чего повидали, чему-то научились, зачем же усложнять самому свою жизнь? Ну, не прав я разве?» — И кладя свою большую, мягкую руку на руку Абрама Лазаревича, заглядывал ему в глаза, пытаюсь добраться до глубины души. Иногда же менял пластинку и говорил жестко, с другими уже интонациями: «Не забывайте, что в нашем аппарате есть органы и способы принуждения. Не хотите по-хорошему, можно и по-другому».

Абрам Лазаревич после этих бесед возвращался домой, принимал что-нибудь успокоительное, которое ничуть не успокаивало, брал что-нибудь толстое, вроде «Саги о Форсайтах», и пытался найти успокоение в компании «молодых» и «уже не молодых» Солианов и Сомсов. На работу не ходил, предложили взять отпуск, очевидно, последний в его жизни.

Сын, Боря, несколько раз вытягивал его на пляж — вообще, он был внимателен и заботлив, — и там, на пляже, под грибком, с развешанными на нем штанами, он лежал и, глядя на проплывающие над его головой маленькие белые кудрявые облачка, думал о том, как ему все надоело, смертельно надоело. И не хочется встречаться с людьми и принимать их соблезнования, и в сотый, тысячный, миллионный раз выслушивать советы, как себя вести с тем-то и тем-то, там-то и там-то, ну их всех, надоело, скучно...

Как-то на пляже к нему подошел и попросил разрешения взять газету, а потом сел рядом на корточки, лилово-бронзовый от загара, поджарый парень, которого

он сразу не узнал, оказавшийся тем самым Кудрявцевым, голосовавшим против его исключения.

— Я уже давно вас здесь заприметил, да все стеснялся подойти. Вы что здесь, с сыном?

— С сыном. Закаляет меня.

— И правильно делает. Солнце, воздух, вода, что еще надо.

— А вот, оказывается, этого мало, — грустно улыбнулся Абрам Лазаревич.

Парень тоже улыбнулся. Показав белые, ровные, не видавшие еще бормашины зубы, он растянулся на животе.

— Я вам не мешаю? Давно вот хотел у вас спросить. Вы в партию... Давно вы в нее поступили?

— Давненько. На фронте еще, в сорок четвертом.

— В сорок четвертом? Порядочно-таки. Двадцать шесть лет, значит? А зачем? Простите за нескромность.

— Вопрос сложный. Сразу и не ответишь. Очевидно, верил еще во что-то.

— Очевидно?

— Очевидно.

— А сейчас?

— Промолчать нельзя? — улыбнулся Абрам Лазаревич и, хотя давно бросил курить, попросил у Николая папиросу. Тот быстро куда-то сбегал, принес пачку «Шипки» и растянулся опять рядом на животе.

— Как хотите, можете и промолчать. Это вроде как и ответ. — И завязался у них тут разговор, о котором

после Николай говорил своей Леночке, как о самом важном в его жизни.

Именно в тот день, на пляже, под грибком узнал и понял Николай то, чем никогда до той минуты не интересовался. Что в сотворении мира принимал участие не только бог-Саваоф, бородатый старик, сидящий на облаках, добрый и обидчивый — о нем рассказывала ему в деревне бабка, — но и дьявол-искуситель.

— Это он придумал разделение на земле, — он, он, он, уверяю тебя! Бог хотел, чтоб всем было хорошо, чтоб все жили дружно и помогали друг другу. А он, дьявол, черт, змеей обвивался вокруг дерева, повесил на нем яблоко, и с того и началось. Адам и Ева застыдились друг друга, Каин убил Авеля — и по-ошло... Он, черт, разделил людей на богатых и бедных, сильных и слабых, добрых и злых, партийных и беспартийных. Ты не смейся, это точно. Одним все, другим ничего или почти ничего.

— Это все тебе твой Юфа объяснил? — спросила Леночка, не одобрявшая это знакомство, вселившее в Колькину голову всякие еретические мысли.

— А кто же, конечно, он. Я и сам-то об этом раньше подумывал, но он, рассказал, на личном примере все это проверил.

И Николай развил перед Леночкой довольно стройно сконструированную теорию человеческого неравноправия и своеобразного распределения благ, прав и обязанностей, в котором не последнюю роль играл марксизм-ленинизм.

— Слушай, мне пить хочется, — сказала Леночка, ей надоело все это слушать и действительно хотелось пить.

Николай натянул штаны и побежал к киоску, где продавали теплое позавчерашнее пиво.

7

Пятнадцатого июля был день рождения Абрама Лазаревича. Минуло шестьдесят лет.

Проснулся он в этот день рано, но долго не вставал. Лежал с закрытыми глазами. За окном неистово носились ласточки, пронзительно, по-своему голося, ворковали призывно голуби, Потом, матерно ругаясь, кто-то начал сбрасывать внизу во дворе какие-то ящики. А Абрам Лазаревич лежал и думал о том, что вот начался еще один день и неизвестно, чем его заполнить. И никуда не надо идти, отмечаться у табельщицы, раскладывать бумаги на столе, отвечать по телефону, ходить на совещания, ездить в Ново-Беличи на стройки. И давно он не видел уже всех своих сослуживцев, которые раньше в этот день, день его шестидесятилетия, повесили бы у него над столом вырезанную из какой-нибудь фотографии его физиономию и пририсовали бы к ней забавное туловище с ручками и ножками, и написали бы — этим занимался присяжный стенгазетный поэт, все тот же Саша Котеленец — забавный стишок, вроде: «Лазарь наш Абрамыч, шестьдесят вам уж сполна, выпьем же стаканыч доброго вина... Пусть будет всем нам жизни ваш пример образцом достойным деланья карьер...» Недавно он, кстати, встретил этого самого Сашу Котеленца. Бежал с авоськой в руках, полной картошки.

— Любуйся, жертва семейной эксплуатации, — деланно весело заулыбался он, размахивая авоськой, — и подумай только, за все это дерьмо три рубля, тридцать рэ на старые деньги. Хотел грибов еще сушеных купить. Так за такую вот вязочку, смотреть не на что, полтора карбованца, дешевле грибов называется...

Потом так, вроде мимоходом, спросил о житье-бытье.

— Перешел на пенсию? Великое дело. Солдат спит, а служба идет.

Абрам Лазаревич спросил кое о ком из бывших сослуживцев.

— Да что говорить, — Саша развел руками, — тянем лямку. Сидим, не дождемся пенсионного возраста. Мне вот еще целый год тянуть. Жду не дожусь. На рыбалку буду ходить, таких вот щук ловить. Ходишь небось?

— Дома все больше.

— Напрасно, напрасно. Рыбалка великое дело.

На этом и расстались.

Встречал он еще кое-кого, так же на ходу, на улице. Минут пять постоят, поговорят о том о сем, об очередном инфаркте, вреде жары для сердечников, неудачном замужестве чьей-то дочери, и ни слова о том собрании, как будто его и не было. Один только Лемперт, Лемперт, проповедовавший теорию «невысовывания», сказал ему:

— Послушай меня, старого мудрого ребе. Забери ты ото идиотское заявление и дело с концом. Нужен тебе этот Израиль, как прошлогодний снег. С арабами они и сами справятся, без тебя, поверь мне. Пусть этим Гуннар Ярринг занимается, он за это свои пару копеек имеет. Ну их всех к лешему.

Так, лежа, натянув одеяло на подбородок, думал Абрам Лазаревич обо всем этом, вспоминал и понимал, что всю эту канитель давно пора бы кончать, но вот почему-то не кончал, и ходил в райком, и вел эти бесконечные никому не нужные беседы в ожидании бюро

райкома, а потом такой же тягомотины с другим следователем в обкоме — конца и края этому не видно. От всего этого становилось невыносимо скучно, и болела голова, и не хотелось уже ни в какие Израили и земли обетованные, а если и хотелось, то только чтоб не думать обо всем этом, и не видеть всех этих опостылевших презирающе-ненавидящих милицейских морд из ОВИРа, куда все еще надо было ходить наведываться и выслушивать в энный раз брезгливо роняемое: «Я ж вам сказала придти через месяц. У вас что, календаря нет, все пороги обиваете». Ох, как надоело, как надоело.

На старых, стоячих, еще дедушкиных часах, чудом почему-то не унесенных немцами, проскрипело, пробило восемь. Абрам Лазаревич встал, сунул ноги в шлепанцы и прошлепал на кухню готовить Борису завтрак. Тот еще спал, скинув на пол простыню и, как всегда, натянув на голову подушку, чтоб не слышать боя часов.

У него уже кончались экзамены — осталось еще два — математика и еще что-то, он уже не помнил что. Ох, уж эти экзамены, скорей бы они тоже кончались. Вчера, например, стали спрашивать парня о ближневосточном конфликте. Ну, ответь честь честью, как положено, не вдавайся в подробности и разъяснения. Так нет, этот лопухий, пятнадцатилетний идиот задает учителю вопрос:

— Почему американская помощь Израилю называется подливанием масла в огонь, а наши ракеты и танки дружеской помощью борющемуся за независимость братскому арабскому народу?

Видали вы такое? Хорошо, учитель к нему неплохо относится и, как ни странно, наделен чувством юмора.

«Ты газету «Правда» читай, — сказал он, — третью страницу, тогда все поймешь» — и поставил тройку.

Ох, Боря, Боря... Что с ним делать? Растет, молчит, все понимает. Стал какой-то замкнутый, серьезный, с товарищами по вечерам сидит, читают что-то недозволенное. Нашел у него недавно на столе «Дело Бейлиса». Потом спрашивал:

— Как же это так, никак не пойму. Царский режим, сатрапы, черносотенцы, антисемиты, «двуглавые орлы», пущены все механизмы, а человека признали невиновным?

— Хорошие защитники были. Маклаков, Карабчевский, Грузенберг, Зарудный, Григорович-Барский.

— Что ты говоришь! Как будто у Синявского и Даниэля были плохие.

— Тогда чего же ты спрашиваешь, если сам все понимаешь?

— Хочу все точки над «і» поставить. А у меня этих точек не хватает.

Вот как он стал отвечать, поганец.

А в это время другой «поганец», правда, уже двадцатилетний, Женька Баруздин, портил кровь своему отцу. Он стал «хиппи». Воспользовавшись каникулами, отрастил волосы до плеч, как у Герцена, по его словам, бороду, усы, ходил в черном свитере, невыносимой поношенности джинсах, и на все уговоры матери и отца лениво-презрительно отвечал:

— Просто у нас разные взгляды на жизнь. Меня тошнит от ваших газет с вечно улыбающимися с первых

страниц передовиками. Тошнит от вашего стремления, безрезультатного, правда, до сих пор, к благополучию и сытым желудкам. К тому же, вы трусы. Всех боитесь — чехословаков, поляков, Гинзбурга, Галанскова, меня боитесь, себя самих. Кстати, отец, куда ты дел мою «Спидолу»? Все равно найду. А не найду — принесу другую. Или к Эдику буду ходить, там не так трясутся.

И ходил к Эдику и приходил потом с этим самым Эдиком и еще какими-то девицами, и начинали крутить магнитофон и ставить всяких там Высоцких и Галичей, от которых без ума.

Николай Александрович не на шутку встревожился. Хорошо еще водки не пьют — «мы, пахан, против допингов» — но и без водки весело достаточно. Одних разговоров хватает.

— Пойми, Женя, — пытался он его совестить после того, как Василь Васильевич сказал ему как-то на бюро райкома: «Послал бы ты своего отпрыска в парикмахерскую, а то, право, неловко, орангутанга какого-то вырастил». — Пойми, что мне краснеть за тебя приходится, я все-таки занимаю определенное положение, со мной считаются, советуются, а сын паяц, да еще вбил себе в голову, что умнее всех.

— Если не умнее, то порядочнее. У меня на счету Юфы нет. У меня совесть чиста. Между прочим, он у вас что, больше не работает? Я его сына встретил, говорит, перешел старик на пенсию.

— Перешел. Шестьдесят уже.

— Кстати, на днях, кажется, стукнет. Борис мне говорил. Пятнадцатого, что ли? Вот предлагаю проявить заботу, внимание. У вас, по-моему, это принято: дать по

шее, а потом с Первым мая поздравить или Седьмым ноября. Понес бы ему тортик или бутылку сухого «Наддніпряньського». От бывших «однопольчан», так сказать.

И через неделю напомнил: «Сегодня, между прочим, пятнадцатое. Не забыл? Тортик, тортик...»

8

В этот вечер Абрам Лазаревич даже растрогался. Вечер был душный, предгрозово́й. Тучи. Сначала бело-сизые, потом сизо-красные, красно-черные, долго ползли из-за крыш соседних домов, потом поднялся ветер, согнувший стоявшие под окном акации чуть не до земли, и после длительной этой подготовки полил, наконец, дождь. Не дождь, а лавина воды, какие бывают только в кинофильмах.

И в этот момент, когда, казалось, всех прохожих на улице должно было смыть, явились, все струившиеся потоками воды, промокшие до нитки, Коля Кудрявцев и с ним еще какой-то, бородатый. Принесли бутылку шампанского и еще какого-то, не то румынского, не то венгерского вина и завернутые в промокшую бумагу колбасу, холодец и баночку хрена.

— А мы к вам... По случаю, так сказать, знаменательного дня. Не прогоните? Все-таки промокли малость, не мешает и согреться.

Чувствовалось, что ребята малость «подзаправились», в чем, впрочем, сами признались: «Дождь вынудил, а тут как раз забегаловка». И, весело хохоча, стали в прихожей выкручивать рубашки и штаны.

Борька им помогал, показывал, куда вешать, был явно смущен и горд — не забыли, вот... Потом, натянув несколько тесные в подмышках борькины майки, уселись чинно на диван, поджав под себя длинные волосатые ноги.

— А это Леня Баруздин, — представил Николай Леню, — от имени, так сказать, вашей и бывшей моей

парторганизации, я ведь оттуда ушел, не сошлись характерами, работаю теперь в автопарке. Ну, а вы как? Как здоровье?

— Да так, скрипим по-стариковски. Через месяц, вот, первую пенсию принесут.

— Ну а там как? — Николай кивнул куда-то в сторону. — С отъездом вашим?

— Хожу все. Анкеты переписываю. То это не так, то то... Борь, ты все-таки чистую скатерть постелил бы, разве мать не учила тебя, как надо гостей принимать. — Абраму Лазаревичу не хотелось говорить об ОВИРах и всем прочем.

Потом сели за стол и наполнили бокалы. Женя встал, еще не высохший, с прилипшими ко лбу волосами и очень серьезный.

— Мазелтов, — сказал он, и последующее говорил ни разу, даже чокаясь, не улыбнувшись. — Я хочу выпить, Абрам Лазаревич, за вас, за то, что вы такой, как вы есть. Пусть другие, в том числе и мой родитель, те, кто за благополучие и благоразумие, кто только думает об одном: «как бы чего не вышло», пусть они считают вас ненормальным. Пусть. Мы этого не считаем. Мы — это неопределившиеся, еще шарахающиеся и колеблющиеся, что-то нащупывающие, пока еще не нашедшие, но ищущие того, чего больше всего боятся наши родители. Мы хотим малого — свободы выбирать. И самим выбирать. Вы выбрали. Правильно или неправильно, но выбрали. И не отрекаетесь. Пусть же выбранное вами никогда не разочарует вас. За это я пью. Мазелтов!

Абрам Лазаревич почувствовал, что у него наворачиваются слезы. Отошел к окну и долго смотрел на бегущие внизу, во дворе ручьи. Дождь постепенно переставал.

Потом вернулся к столу и слегка волнуясь сказал, что очень тронут тем, что Леня сказал. И тем, что вообще пришли. Он, как они, вероятно, понимают, не придает никакого значения датам, и все же приятно. Приятно, когда не забывают, когда...

Он смутился и неловко, проливая на скатерть, наполнил опять бокалы.

— А насчет выбора? Думаю, что твои родители правы, считая меня ненормальным. Но очень уж надоело быть нормальным, поверьте мне. А если говорить совсем уж начистоту...

Но начистоту ему сказать не дали. Дождь кончился и явились гости, старые, еще институтские друзья Абрама Лазаревича, муж и жена с племянником-физиком, из категории тех, как сразу поняла молодежь, которые Абрама Лазаревича тоже считают ненормальным. На столе появился торт и еще одна бутылка.

Стараясь не обращать внимания на голые ноги Женьки и Николая, старые друзья заговорили сначала о дожде, потом об измучившей всех за последнее время жаре, вообще о перемене климата за последние годы, о том, что это результат ядерных испытаний и всяких там космических экспериментов, и тут племянник-физик, оседлав своего конька, стал нудно рассказывать о последних успехах в этой области. И стало совсем скучно.

— У тебя нет Галича? — спросил заговорщицки у Бориса Леня. — Хотелось бы нокаутировать старцев.

— Есть у Валеры, соседа. И маг есть.

— Принес бы.

Через минуту появился магнитофон, и комната заполнилась гитарой и приятным, комнатно-застенчивым, перебиваемым смехом и аплодисментами, голосом кумира всей молодежи.

Сначала все смеялись, слушая про товарища Парамонову, про вышедшую замуж за красавца-эфиопа регулировщицу Леночку, про истопника, рекомендуемого «столичную» как верное средство от стронция, потом перестали смеяться.

«Мы похоронены где-то под Нарвой,
под Нарвой, под Нарвой...

тихо и грустно, а потом все громче и трагичнее зазвучал голос.

Мы похоронены где-то под Нарвой,
Мы были — и нет.

Так и лежим, как шагали попарно,
попарно, попарно;

Так и лежим, как лежали попарно.

И общий привет.

И не тревожит ни враг, ни побудка,
побудка, побудка,

И не тревожит ни враг, ни побудка,
умерших ребят.

Только однажды мы слышим как будто,
как будто, как будто,

Только однажды мы слышим как будто
Вновь трубы трубят.

Что ж, поднимайтесь, такие-сякие,
такие, сякие,

Что ж, поднимайтесь, такие-сякие,
Ведь кровь — не вода.

Если зовет своих мертвых Россия,
Россия, Россия,

То, значит, — беда.

Вот мы и встали в крестах и нашивках
нашивках, нашивках,

Вот мы и встали в крестах и нашивках
В снежном дыму.

Смотрим и видим, что вышла ошибка
ошибка, ошибка,

Смотрим и видим, что вышла ошибка,
И мы — ни к чему.

Где полегла в сорок третьем пехота,
пехота, пехота,

Где полегла в сорок третьем пехота,
Напрасно, зазря,

Там по пороше гуляет охота,

охота, охота,

Трубят егеря...

Все молча слушали, глядя кто в окно на раскачиваемые ветром акации, кто на бутылки на столе, кто на кончики собственных ногтей. Потом так же молча прослушали «Промолчи, промолчи, промолчи... Промолчишь, попадешь в первачи... Промолчишь, попадешь в богачи... Промолчишь, попадешь в палачи...»

— М-да, — задумчиво сказал пришедший гость, когда Боря выключил, наконец, магнитофон, — все это, конечно, грустно; рождает невеселые мысли, но еще грустнее, что увлекается этим наша молодежь, — он кивнул в сторону перематывавшего ленту Бориса и стоявшего с ним рядом Николая. — Может, мы в этом возрасте беспечнее были, а может, напротив, собраннее, целеустремленнее. Как ты думаешь, Ава? А годы тогда были тридцатые, нелегкие. Коллективизация, голод...

— Тридцать седьмой еще был впереди, — сказал Абрам Лазаревич, — а для них он уже позади, история. И дело врачей — тоже история.

Поговорили о врачах, Берии, неизвестном Рюмине, которого уже все забыли.

— Кстати, — вставил Женя, — в последнем томе БСЭ, который только что вышел, на букву «Б» Берии вовсе нет. А в предыдущем издании, я видел у отца, в этом самом томе на букву «Б» лежит записка: возьмите ножницы или бритвочку, вырежьте страницы такие-то и такие-то и замените прилагаемым — Берингов пролив и еще что-то. Это вместо Берия. Отец, конечно, указание выполнил и кровавого тирана тут же сжег на спичке.

— А кто это Берия? — недоуменно спросил Николай.

— А кто такой Ягода, Ежов — тоже не знаешь? — поинтересовался Женя. Николай пожал плечами. — И чему вас в армии только учат?

Николай смутился и покраснел.

— Я вообще не очень-то того... Учиться еще надо.

— Научат вас, — мрачно сказал Женя, — «По ленинскому пути» Леонида Брежнева читай. Он сейчас на всех языках вышел.

Воцарилось неловкое молчание. Молодой физик, чтоб разбить его, разлил вино и сказал:

— Век живи, век учись, все равно дураком умрешь.

Взрослые ничего не сказали и молча выпили.

— Да, вот так-то, — Женя поставил свою рюмку на стол и тихо пропел: «И вышла ошибка, ошибка, ошибка... и трубят егеря».

— Трубят... — неопределенно сказал Абрам Лазаревич. Разговор явно не клеился. Гости посмотрели на часы. — Торопитесь, что ли? — спросил Абрам Лазаревич.

— Да... Еще одни именины сегодня. Урожайный день какой-то. — Раскланялись и ушли.

После их ухода стало как-то проще. Покрутили еще магнитофон, потом пили чай с принесенным тортом. Разошлись где-то после одиннадцати. Штаны и рубашки к тому времени уже высохли.

— Ну что ж, — пожимая ребятам руки, говорил Абрам Лазаревич. — Очень мне приятно было, что

зашли. Не думал, никак не думал. Есть, значит, все-таки преемственность поколений.

— Только поколение не то, — рассмеялся Леня. — Наше, то есть. Недостаточно целеустремленное, малосведущее. Надо вот еще Николаю на Берию глаза открыть, а то темный он у нас еще. Пошли, что ли, Коля?

И ребята убежали, весело перепрыгивая через одну ступеньку.

Абрам Лазаревич подошел к окну, подышал посвежевшим после дождя воздухом, потом сказал:

— Помой-ка, Борь, посуду. А я полежу. Голова что-то закружилась с непривычки, — и лег на диван.

9

Прошло лето — жаркое, сухое, почти без дождей. Сердечники жаловались на него. Абрам Лазаревич тоже плохо себя чувствовал. Никуда они с Борей, как собирались, не поехали — куда-нибудь на юг, к морю. Нужно все еще было ходить к следователю, потом со дня на день откладывали бюро райкома. Состоялось оно где-то в начале сентября.

После него Абрам Лазаревич пришел разбитый, какой-то осунувшийся, сразу лег на диван.

— А обед? — встревожился Боря. — Я тут все приготовил. К супу даже гренки поджарил. Салат сделал из помидоров с огурцами.

— Спасибо, Борь. Погоди немного. Отлежусь малость... Дай мне стаканчик воды. И таблетку там, на столе, ты знаешь.

Через полчаса он встал, пообедал без особого аппетита, так, чтобы Борис этого не видел, и опять лег с книгой в руках.

На бюро он почти ничего не говорил. Сказал, что за это время все еще раз хорошо продумал, но решения своего не меняет, не видит для этого оснований, до него говорил еще его партследователь, волнуясь, заглядывая в бумажку. Говорил сочувственно, упирая на фронтовое прошлое Юфы, на его ранения, контузию, хорошие отзывы с работы. Вывод его — учитывая все вышеизложенное — строгий выговор с предупреждением.

— А может, еще благодарность вынести? — угрюмо съязвил Василь Васильич, первый секретарь. — И билет на самолет домой принести?

После Абрама Лазаревича говорил Баруздин — и нашим, и вашим, как и следовало ожидать, что, на его взгляд, было проявлением наивысшего мужества, потом какой-то военный, требовавший исключения, еще кто-то, поддержавший военного, строгого вида женщина, что сам поступок влечет за собой исключение, но учитывая возраст, фронт, ордена и веря в то, что коммунист Юфа еще подумает и т.д., эту меру можно заменить строгим выговором.

В заключение выступил Василь Васильевич. Он говорил долго, с экскурсами в историю, ссылаясь на классиков марксизма и более близких руководителей, а в общем то же самое, что говорил в свое время на партсобрании его второй секретарь. Закончил словами:

— Думаю, что партия наша не станет слабее оттого, что избавится от одного из членов своих, который не заслуживает такого высокого звания. Тут одно — или с нами или против нас! Ваш выбор, Юфа, говорит, что вы не с нами. Я не настаиваю на том, что вы против нас — тогда меры были бы приняты другие, — но вы не с нами. Прав я или нет, товарищи? По-моему, прав... (никто не возразил). Итак, ставлю на голосование. Кто за исключение товарища Юфы (он все-таки сказал «товарища») из рядов партии, прошу поднять руки. Считаю: раз, два, три, четыре, пять... Кто против? Один. Кто воздержался? Тоже один.

Одним «против» оказалась строгая женщина. Воздержался партследователь. Баруздин голосовал за исключение.

— Прошу вручить мне ваш партбилет, — сказал Василь Васильич тоном, который должен был подчеркнуть всю торжественность данной минуты. — По поводу нашего решения можете апеллировать в горком партии.

На этом процедура была закончена. Абрам Лазаревич встал и быстро вышел, боясь, что его задержат.

10

Настала осень. Зарядили дожди. В газетах писали, что подобного количества осадков не было с тысяча шестьсот какого-то года и что зима ожидается снежная и суровая. Все охали и жаловались, и с тоской думали о приближающейся зиме.

А Абрам Лазаревич говорил:

— Странно, но я вот люблю зиму. Настоящую русскую зиму. Скрипящий под ногами снег, толстые шапки на крышах, вертикальный неподвижный дым из труб, и чтоб ноздри, когда вздохнешь, слипались. Ничего этого у нас не будет, Борь, в Израиле, когда мы туда попадем. Песок, кактусы, камни...

Первое время, когда он только подал свое заявление, он много думал о той, не очень далекой, но очень уж непохожей на нашу стране. Что он о ней знал? Почти ничего. Кроме сведений, почерпнутых из энциклопедии — высокое плато с отдельными пониженными участками, полезные ископаемые — калийная и каменная соль, бром, фосфориты, асфальт, строительный камень; растительность — кустарниковые заросли маквиса и фригана, а в Галилее леса из вечнозеленых дубов, терпентинного дерева и алеппский сосны и того, что буржуазное это государство содержится на американские доллары. Остальные сведения черпались из газет и «Голоса Израиля», которые надо было развешивать на аптекарских весах, так как подвергавший по Марксу все сомнению Абрам Лазаревич не очень-то доверял идиллическим комментариям Иерусалима.

Лежа на продавленном своем диване (последние десять лет каждый день начинался со слов покойной жены: «Когда ж мы его, наконец, приведем в божеский вид? Сегодня же поговорю с мадам Цейтлин, у нее, говорят, прекрасный недорогой мастер есть, за два дня все сделает»), он пытался нарисовать себе картину будущей жизни. И нужно сказать, она не очень ясно вырисовывалась. Сестра, муж, в прошлом журналист, а сейчас не совсем ясно кто, трое детей, невестки, внуки. И все это в кибуце, где-то недалеко от Мертвого озера. Сестра присылает иногда идущие по два-три месяца посылки с растворимым кофе, конфетами и пепельницами-сувенирами с изображением семисвечника или щита Давида. В письмах пишет: «Все мы будем рады вашему приезду и попытаемся создать сносные условия существования». Это «попытаемся» и «сносные» несколько смущали Абрама Лазаревича, но в конце концов, что ему с Борькой нужно — крышу, кусок хлеба и что-то похожее на любовь. Сарру (теперь ее звали Сура) он последний раз видел, если это можно так назвать, пятьдесят лет тому назад, когда она была длинноногим, веснушчатым, капризным ребенком, вечно грызущим ногти и отказывающимся от манной каши. Потом она с родителями уехала в Яффу, и до конца пятидесятих годов он ничего о ней не знал. Обнаружилась она через одного туриста из Израиля, который чудом его нашел и вручил письмо. Письмо было (по-видимому, из боязни что оно попадет в чьи-нибудь руки) краткое: «живы, здоровы», а со слов туриста он узнал, что «концы с концами» они сводят, а вообще, «знаете, какая теперь жизнь — сегодня так, а завтра бог его знает как...». С тех пор завязалась, правда, не очень бурная переписка. В одном из писем последовало приглашение приехать к

ним, изложенное с библейско-торжественной витиеватостью:

«Пусть ветви деревьев склонившихся над могилами наших отцов осенят и наше с тобой место последнего успокоения». Вот как веснущатая Сура стала теперь выражаться.

Сейчас, лежа на том же продавленном диване (покойная жена так и не добралась до мадам Цейтлин, теперь она, кажется, умерла, а без нее приличного, недорогого мастера днем с огнем не сыщешь), он все реже и реже рисовал себе картины неведомой, лежащей на высоком плато с отдельными пониженными участками страны, а думал о том, почему в его стране (все-таки «его») нельзя тихо и спокойно, без нервотрепки, доживать свои дни. Он чувствовал, что с каждым днем ему становится все хуже и хуже — плохо спал, частые головокружения, нет-нет, да что-то подкатит к горлу — но к врачам не ходил («ну их, один одно говорит, другой противоположное»), ограничивался таблетками.

Как-то вечером ему стало совсем плохо, покрылся испариной и пульс переселился куда-то в голову. Борьке он ничего не сказал, но тот сам понял, не на шутку встревожился и вызвал неотложку. Те часа через два приехали, когда стало уже лучше, усталые, злые, неразговорчивые, сделали укол и через три минуты ушли, сказав: «Сто лет еще проживете».

Сто лет эти оказались двумя неделями. Как-то утром Борис проснулся, поставил чайник, поджарил яичницу, а когда подошел к отцу, который непривычно долго спал, обнаружил его лежащим на спине, с открытыми глазами и бездыханным.

Хоронили Абрама Лазаревича в ясный, теплый, удивительно прозрачный и тихий день начала октября. Вчера еще лил проливной дождь и небо безнадежно было затянуто низкими, сплошными, без единого просвета тучами. И на следующий день лил дождь, а этот, точно отдавая дань уважения усопшему, насквозь был пронизан покоем и какой-то благодностью. Пахло свежей, не высохшей еще со вчерашнего землей и палеными листьями, предвестием недалекой уже зимы. Похоронили в одной ограде с женой, без чего Абраму Лазаревичу никогда бы не попасть на это заросшее столетними липами и вязами с буйно цветущей весной сиренью кладбище для избранных, где хоронили теперь только секретарей ЦК и обкомов, всех видов Героев, а заодно их жен, воздвигая на их могилах громадные, высеченные из гранита головы с волевыми подбородками и устремленными в будущее взглядами.

Провожающих было немного — несколько дальних родственников, из бывших сослуживцев Саша Котеленец и еще несколько человек, которых никто не знал, принесших венки из живых хризантем и черной лентой, на которой что-то было написано по-еврейски. Были и Николай с Леней. Рядом с ними жался бледный, осунувшийся с красными глазами Боря.

Речей никто не говорил. Бросили по грудке земли, и рабочие молча, как-то очень тихо, почему-то не пререкаясь, со знанием своего привычного невеселого дела, засыпали могилу землей и поставили табличку с надписью: «А.Л.Юфа. Род.15 июля 1910 г. ум. 12 октября 1970 г.». Потом все разошлись.

Леня сказал:

— Ну что ж, по христианскому обычаю, хотя он и не исповедывал нашей веры?

— Ну что ж, — сказал Николай.

И взяв бутылку «московской» и колбасы, они расположились на самом кладбище, на окраине его, над железнодорожными путями рядом с полуразваленным замурованным склепом с готическими ажурными башенками и безруким склонившимся ангелом, неизвестно чем держащимся крестом.

По путям проносились поезда, сменившие свои былые, низкие, благородные гудки на какой-то несолидный, пронзительный свист, а за путями растянулся город, с каждым годом меняющий свой привычный силуэт прошедшего века. Какими-то чужими, неизвестно откуда пришедшими, казались белые, высокие башни и господствующее над всем привокзальное зелено-стеклянное здание новой гостиницы «Лыбедь». И не выделялись уже одиночками среди моря крыш купола Софии и Владимира, их как-то потеснили, заслонили, уступили дорогу другим.

— Ну, что ж, — сказал опять Леня, — за упокой души, так сказать.

— Хорошей души, — сказал Николай.

Боря ничего не сказал, выпил свою стопку и поперхнулся.

— Вот и не доехал наш Абрам Лазаревич до обетованной земли своих отцов, — сказал, вздохнув, Женя. Николай откинулся на спину.

— А, может, и хорошо, что не доехал? Хоть мечта осталась. А у нас с тобой есть мечта?

— У отца с матерью есть. Купить немецкую кухню за 130 рублей. Есть у них там какой-то знакомый, обещал достать.

— А у тебя, Борис?

Борис помолчал. Сорвал какую-то травинку, общипал ее, точно гадая, потом сказал:

— Все в той же Большой Советской Энциклопедии сказано, что мечта бывает двух родов — активная и пассивная. Первая — творческая, полезная, направленная на созидание, а вторая — пустая мечтательность, связанная с бездеятельностью, довольствующаяся исполнением своих желаний в воображении. Вот я и не знаю, какая из них лучше, поэтому ее у меня нет.

— Вот это да, — протянул Леня. — Трудно тебе жить будет, романтика из тебя не получится.

— Уже не получилось, — мрачно сказал Боря и больше ничего уж не говорил.

— Да, — вспомнил вдруг Николай последний их разговор на квартире у Абрама Лазаревича. — Ты обещал мне раскрыть глаза на кого-то, кого вырезали из энциклопедии.

— На Берию Лаврентия Павловича? Можно. Хотя знать тебе не положено, так как, хотя он и был до своего исчезновения из жизни и энциклопедии выдающимся общественным и политическим деятелем, но, как потом выяснилось, был он блякой и правой рукой Отца Народов, которая и делала все плохое. Но к партии, учти, кандидатом которой ты состоишь, это никакого отношения не имеет, так как, к твоему сведению, она никогда не ошибалась. Так что, совесть твоя может быть

чиста, а о Берии вспоминать нечего — не было его и все... О прошлом рекомендуется помалкивать.

— Промолчи, промолчи, промолчи, — высоким голосом затянул Николай. — Промолчи — попадешь в первачи... Промолчишь, попадешь в богачи... Промолчишь, попадешь в пал-лаци...

Через неделю после похорон пришло из ОВИРа письмо в большом рыжем конверте со штампом. В нем сообщалось, что гр. Юфе Абраму Лазаревичу и его сыну Юфе Борису Абрамовичу дается разрешение на выезд в государство Израиль на постоянное жительство. Разрешение действительно до 15 ноября с.г.